

Михаил Михайлович
ПРИШВИН
1873 – 1954

Михаил
ПРИШВИН

Кладовая солнца



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
П 77

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

ISBN 978-5-389-08591-6

© М. Пришвин (наследники), 2018
© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®

Кащеева цепь

Роман

ЗАЙЧИК

Однажды осенью под вечер я проходил мимо усадьбы, из которой мужики только что выгнали хозяев. Я остановился, пораженный красотой тройного умирания: усадьба умирала, год умирал в золоте листопада, день умирал. А на самом конце длинной аллеи, засыпанной кленовыми листьями, на террасе, обвитой красными лозами дикого винограда, сидел заяц...

Я не поверил своим глазам, — подумал, мне это чудится, а заяц как ни в чем не бывало сидел на той самой ступеньке, где так часто, бывало, я сам любил под вечер присесть.

Я знал историю этого дома, собирался давно ее написать, материалы были прекрасные, а главного лица не было; как я ни бился, герой не показывался. Теперь же вот, как будто в насмешку надо мной, на место героя уселся заяц. И горько мне стало: неужели действительно моя родная, любимая земля не даст героя? Я пробовал думать о множестве замечательных людей, рожденных на этой земле: вон там, не очень далеко отсюда, пахал Лев Толстой, там охотился Тургенев, там ездил на совет Гоголь к старцу Амвросию, да и мало ли из этого черноземного центра вышло великих людей, но они *вышли* действительно, как духи, а сама земля через это как будто даже стала беднее: выпаханная, покрытая глиняными оврагами и недостойными человека жилищами, похожими на кучи навоза. И мне стало казаться, что один старичок, совсем незначительный, укреплявший овраги садами, был достойней для моего романа, чем

все эти великие люди. Я готов был остановиться на этом старике, но вспомнил, что, кроме садов и оврагов, он по воскресеньям тоже занимался литературой: писал листки под названием «*Двенадцать добрых дел*» и рассылал их знакомым с просьбой отсылать дальше. Вспомнив про это, я отказался от старика: невозможно же правда сделать героем большого романа человека, заключенного в кругу двенадцати добрых дел. Между тем таинственный заяц все сидел на террасе и тоже как будто о чем-то мечтал. Было еще довольно светло, и я знал, что наши обыкновенные зайцы в это время еще плотно лежат по дубовым кустарникам.

«А что, — подумал я, — случай, быть может, посылает мне этого зайца на помощь: „Смирись, мол, писатель, не умствуй; герой — это выдумка, а личность, наверно, есть и в этом зайчишке“».

— Что вы тут, батюшка, разглядываете? — спросила меня старуха, дьячихина мать.

— Марья Васильевна, — сказал я, — слыхали вы, чтобы где-нибудь заяц днем ходил по домам?

Старуха всмотрелась и вникла.

Я подсказал:

— Заяц ли это?

Она перекрестилась. Заяц, верно, заметил движение и вдруг пропал.

— Вот видите, — сказал я, — креста боится. Не сам ли это хозяин тут баламутит?

Старуха еще раз перекрестилась, уж не из страха, а из благодарности за действие креста, и тоже очень таинственно мне прошептала:

— И очень просто — прикинулся да и высматривает. Не миновать какой-нибудь беды мужикам.

Старуха потом, конечно, рассказала и на деревне о явлении зайца, и, кто знает, не из-за этого ли зайчика наши суеверные крестьяне через несколько дней разнесли усадьбу в пух и прах.

После того я окончательно убедился, что герой может быть не только не героем, но даже и личность в нем не обязательна: он может просто, как зайчик, выйти посидеть

на терраску, а из-за этого произойдут события грандиознейшие. Так бывает!

К сожалению, в этот раз мне все-таки не удалось сделать вполне героем зайца; мало-помалу я с ним так сроднился, что дал ему черты мальчика, каким я сам был, хотя имя оставил ему все-таки заячье: Курымушка.

Некоторые из моих друзей, прочитав рассказы о Курымушке, однако, совершенно не догадались, что рассказывается в них о каком-то таинственном зайчике, и всё приняли как автобиографию и семейную хронику.

Что же делать? Ведь от себя самого не уйдешь. Мы не маленькие дети, и не спасет нас от скуки чтения даже самая хитрейшая фабула. Пора уже знать, что только близость автора к себе самому и способность его приблизить других к себе так, чтобы они были как будто совершенно свои, родные, находят отклик в читателе. Тогда зачем же ходить далеко? Вот моя собственная жизнь и с ней те, кого я любил, кого боялся и ненавидел. Рано или поздно все тайны будут непременно раскрыты — не мной, так другим: нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Вот пень огромного дерева, выросшего от семени, занесенного когда-то птицей в эту усадьбу. Дерево перебыло здесь прекрасную жизнь и раскрыло все возможности, заложенные в семя. Но правда ли, что, сосчитав все годовые круги огромного пня, я узнал что-нибудь о тайнах прекрасного дерева? Так едва ли стал бы кто-нибудь читать рассказ о моей совсем обыкновенной, измеренной и сосчитанной жизни, если бы однажды в конце длинной аллеи, засыпанной кленовыми листьями, на террасе, обвитой красными лозами дикого винограда, не явился мне таинственный зайчик и я, пораженный красотой тройного умирания, не задумал сделать эту сказку — и очень близкую к моей собственной жизни, и очень далекую.

КНИГА ПЕРВАЯ

КУРЫМУШКА

ЗВЕНО ПЕРВОЕ

ГОЛУБЫЕ БОБРЫ

Веточка малины

В Ельце, моем родном городе, все старинные купеческие фамилии были двойные: первое имя, хотя бы наше, Пришвины, было имя родовое и официальное, а второе имя считалось «уличным»: наше уличное имя было Алпатовы. И так точно было у всех: Лавровы, Ростовцевы, Горшковы, Хренниковы, Романовы, Заусайловы, Лагутины — у всех решительно были вторые, «уличные» имена.

Разделение купеческих имен — явление до того заметное и всюдное, что, наверно, есть этому и какое-то разумное объяснение, но до всего не дойдешь, а когда потребуется самому объяснить, и не знаешь, для чего и как это делалось. Мне всегда казалось, будто вторые имена являются простейшей попыткой вывести живое современное имя из его родовой заключенности на суд общества, пусть хотя бы и уличного.

Еще я так думаю о вторых именах и о первых, что первое имя от тебя никак не зависит, и когда его давали кому-то, это родовое имя, ты еще не существовал. Второе имя пришло, опять не глядя на тебя, а на какого-нибудь твоего, быть может очень отдаленного, предка. Третье — твое собственное, личное имя открывает путь тебе самому и представляет собой как бы право на усилие сделаться таким, как хочется тебе самому и что можно назвать поведением.

Так вот и выходит, что у одного и того же человека может быть три имени: с одним он родился, другое ему пришло с улицы, а третье, его собственное, личное, живое «я»,

каждый чувствует, и отвечает за него, и создает с помощью его небывалое.

С малолетства чувствовал в себе напор сил для борьбы за свое собственное имя. Редко, очень редко удавалось мне в те времена оставаться победителем. Так было раз в детстве: я признался своему маленькому другу, что я, может быть, вовсе даже совсем и не Пришвин.

— Кому ты говоришь! — ответил мой друг. — Я ли не знаю, что вас, Пришвиных, на улице везде называют «Алпатовы»?

— Вот еще! — воскликнул я почти обиженно. — Я тебе хотел свою большую тайну открыть, а ты говоришь о том, что всем известно: Алпатовы — это наша старинная уличная кличка.

— А если ты не Пришвин и не Алпатов, то кто же ты?

— А вот угадай, — ответил я.

И прочитал ему первое мое стихотворение:

Скажи мне, веточка малины,
Где ты росла, где ты цвела,
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?

— Понимаешь меня теперь? — сказал я. — Стихотворение Лермонтова «Ветка Палестины» и мое «Веточка малины» так близки друг другу и так далеки и от Пришвиных, и от Алпатовых, что, скорей всего, мне кажется, по-настоящему я Лермонтов.

— Позволь, — сказал мой друг, — твоя «Веточка малины» всего только двумя словами различается от Лермонтовой «Ветки Палестины», так может каждый подделаться легко, и от этого сам не обернешься ни в Лермонтова, ни в Пушкина.

Каждый, конечно, по себе испытал, что иная душевная рана держится на тебе гораздо дольше и причиняет всякого рода беспокойства гораздо сильнее раны физической.

Вполне допускаю, что этот первый самообман и породил во мне особый стыд к писательству, и не только в стихах, но и в прозе: только после тридцати лет я решился попробовать писать прозой. А в стихах у меня бывает стыд

не только за себя, но и за всякого порядочного человека: я краснею за него, стыжусь по-настоящему и непременно вспоминаю свою «Веточку малины».

Вот какой срам пришлось пережить еще в детстве, и вот какая ясность чего-то настоящего, и, в свете этого настоящего, какое высокое представление о настоящей поэзии: что чуть только фальшь в чем-нибудь, так и сейчас стыдно!

И все это оттого, что автор, даже такой, как маленький я со своей «Веточкой малины», сам-то про себя думает, что он приходит с новорожденным словом, что он несет в свет своим словом нечто новое, небывалое.

Мало того! Если бы каждый из нас начинал свою жизнь попыткой сказать или сделать что-нибудь совершенно новое, небывалое, а не повторял бы, как попугай, слова, сказанные кем-то другим, и не только бы в поэзии, так и во всем своем поведении, то мир человеческий очень скоро переменялся бы.

И вот что тоже замечательно: сколько уже лет смеялись над бедным Дон Кихотом, что он сказал длинную речь своему коню Росинанту, а конь после того вернулся в конюшню. Но мало того что над Дон Кихотом добродушно смеялись: Дон Кихотом некоторые даже прямо бранились. И все-таки, несмотря ни на смех, ни на брань, этот герой человечества, неудачник из всех неудачников, не обозлился на человечество и тем самым сохранил свое человеческое право на дружбу: мы дружим все с Дон Кихотом до сих пор, и так будет всегда.

Так было и с этой оглушительной оплеушиной в самое место начала сознания своей личности, когда в тени гения Лермонтова я хотел было со своей «Веточкой малины» оторваться от родового имени Пришвиных, занятых когда-то полезным делом вытачивания необходимой части ткацкого станка, *пришвы*.

Оказывается, что не так-то легко оторваться от прошлого и объявить себя не связанным родом своим и племенем. И уж если рассказывать о том, как я сделался писателем, то надо рассказать прежде всего о том времени, когда я вовсе и не помышлял делаться писателем.

Хрущево

Родился я в 1873 году в селе Хрущево, Соловьевской волости, Елецкого уезда, Орловской губернии, по старому стилю 23 января, когда прибавляется свет на земле и у разных пушных зверей начинаются свадьбы.

Село Хрущево представляло собой небольшую деревеньку с соломенными крышами и земляными полами. Рядом с деревней, разделенная невысоким валом, была усадьба помещика, рядом с усадьбой — церковь, рядом с церковью — Поповка, где жили священник, дьякон и псаломщик.

Одна судьба человека, родившегося в Хрущеве, родиться в самой деревне под соломенной крышей, другая — в Поповке, и третья — в усадьбе.

Мне выпала доля родиться в усадьбе с двумя белыми каменными столбами вместо ворот, с прудом перед усадьбой и за прудом — уходящими в бесконечность черноземными полями. А в другую сторону от белых столбов, в огромном дворе, тесно к садам, стоял серый дом с белым балконом.

В этом большом помещичьем доме я и родился.

С малолетства я чувствовал себя в этой усадьбе ряженым принцем, и всегда мне хотелось раздеться и быть просто мужиком или сделаться настоящим принцем, как в замечательной детской книге «Принц и нищий».

Это маленькое имение, около двухсот десятин, было куплено дедом моим Дмитрием Ивановичем Пришвиным, елецким потомственным почетным гражданином, у дворянина Левшина — кажется, генерала.

После семейного раздела Пришвиных Хрущево досталось моему отцу, Михаилу Дмитриевичу Пришвину.

Вот так и случилось, что елецкий купеческий сын, мой отец, сделался помещиком.

В барском имении мой отец вел себя не по-купчески: весь огромный усадебный двор он окружил строениями для кровных орловских рысаков, вдоль ограды тянулась длинная и новая маточная¹, поперек под углом — старая

¹ *Маточная* — помещение для кобыл с маленькими жеребятами. (Здесь и далее примеч. М. М. Пришвина.)

маточная, и за нею — варок¹. В доме всюду во множестве были развешаны портреты отечественных рысистых коней, написанные знаменитым в то время художником Сверчковым.

Рассказывали мне, что отец сам выезжал рысаков и не раз в Орле брал призы. Еще отец мой был замечательным садовником, и некоторые его цветы, поддержанные после его смерти моей матерью, и особенно фруктовые деревья так и остались со мною на всю мою жизнь.

А еще отец, конечно, был превосходным охотником. Догадываюсь, что среди хороших знакомых отец был веселым затейником, и та чудесная музыкальная речь, которая мне везде и всюду на родине слышится, может быть, тоже была украшением веселой жизни хрущевского «принца».

Скорее всего, я думаю теперь, кроме маленького имения, отцу при разделе досталось немало тоже и денег, а то откуда же взять средства на такую веселую жизнь! Как жаль мне отца, не умевшего перейти границу первого наивного счастья и выйти к чему-нибудь более серьезному, чем просто звонкая жизнь.

Где тонко, там и рвется, и, наверно, для такой веселой, свободной жизни у отца было очень тонко. Случилось однажды, он проиграл в карты большую сумму; чтобы уплатить долг, пришлось продать весь конский завод и заложить имение по двойной закладной. Тут-то вот и начинать бы отцу новую жизнь, полную великого смысла в победах человеческой воли. Но отец не пережил несчастья, умер и моей матери, женщине в сорок лет с пятью детьми мал мала меньше, предоставил всю жизнь работать «на банк».

Вот почему теперь я и держусь своей матери: через мать я природе своей получил запрет, и это сознательное усилие принесло мне потом счастье.

Я был еще совсем маленьким, когда умер мой отец, и до того еще был неразумным, что событие смерти отца в нашем хрущевском доме не переживал глубоко. Если теперь говорю, что жалею отца, то не его именно жалею, а того отца, кто мог бы своим вниманием указать мне в жизни

¹ *Варок* — огороженное место для выгула коней.

истинный путь. Всю свою жизнь я чувствовал недостаток такого отца, и, мне кажется, в своих скитаниях и по земле, и по людям, и по книгам я искал себе такого отца-наставника.

Мать моя, Мария Ивановна Игнатова, родилась в городе Белеве, на берегу самой милой в России реки Оки. Далеко ли Белев от Ельца, но какая разница в природе! Черноземная земля под Ельцом представляет собою край того обезлешенного, выпаханного чернозема, где богатейшая когда-то земля нашего центра покрылась оврагами из красной глины, как трещинами, где крытые соломой лачуги были похожи на кучи навоза. И человек «культурный» укрылся от нескромного глаза в барских усадьбах.

Совсем другое — родная земля на родине моей матери, легкая, покрытая лесами земля по Оке.

Работая неустанно с утра до вечера, учитывая каждую копейку, мать моя под конец жизни все-таки выкупила имение и всем нам пятерым позволила получить высшее образование.

Курымуска

В нашем доме сохранилось старинное, сделанное еще крепостными руками огромное кресло Курым. Никто не знал, что это значит, слово «Курым», и откуда оно взялось, но если скажешь: «Курым», то каждый почему-то ищет глазами кресло. Говорят, будто в этом кресле я родился и за то получил с малолетства прозвище Курымуска.

Говорили, что мальчиком я был очень похож на кресло, но чем же именно похож, об этом никто верно не знал.

Часто я раздумывал, сидя в этом огромном кресле.

Я думал, что у каждого из нас жизнь как наружная оболочка складного пасхального яйца: кажется, так велико это красное яйцо, а это оболочка только, — раскроешь, а там синее, поменьше, и опять оболочка, а дальше зеленое, и под самый конец выскочит почему-то всегда желтенькое яичко, но это уже не раскрывается, и это самое, самое наше. Бывает, при переломах душевных сосредоточишься в себе, и вот

начинает все нажитое отлетать, как скорлупки. И со мной раз так было: все отлетело и вышел маленький мальчик Курымушка у постели своего больного отца. Мать сказала:

— Папа просит тебя на постель, полезай к нему!

Отец сделал губами, глазами, единственной здоровой рукой какие-то знаки, понятные матери, и она сейчас же дала ему лист бумаги и карандаш. Он хорошо рисовал, одним движением сделал на бумаге каких-то необыкновенных животных в елочках и подписал: *голубые бобры*.

Этой же ночью представилось Курымушке, что в его полон над кроватью залетела огромная муха и жужжит на весь дом, никому спать не дает, все бегают с огнем, стучат, шепчутся. Он плачет, зовет в темноте, кусает в отчаянии бахрому полога, — нет ответа! Так всю ночь муха хрипит, и только под утро стало тихо, но все — не так, что-то большое случилось в доме. И с этим темным предчувствием Курымушка выходит из детской. В передней на пороге стоит неизвестный мужик, староста Иван Михалыч машет ему рукой:

— Уходи, уходи!

— Надо бы...

— Не до тебя: Михал Дмитрич помер.

— Царство небесное! — перекрестился неизвестный мужик и вышел.

Курымушка входит к отцу. Он лежит на своем месте такой же, только совсем голый, и няня намазывает ему палец, стягивает золотое кольцо. Особенного, страшного тут ничего не было, и Курымушка просто переходит в другую комнату, где сидит Софья Александровна и еще дамы, тоже из соседей, помещицы.

— Миленький, поди-ка сюда, папа твой умер, ты теперь *сирота*.

— Ну что ж, — ответил Курымушка, — зато у меня вот что есть!

— Что это?

— Папа вчера мне дал: голубые бобры.

— Фантазер был! — улыбнулись дамы и заговорили между собой, будто тут и не было возле них Курымушки.

— И правда — одни голубые бобры! Бедная Мария Ивановна! Имение под двойной закладной, пять человек детей!

— И еще купцы! Последний дворянин живет на земле — и это у него естественно; разорится и все живет, и все естественно, а купцы полезли на землю зачем? Что им земля? Простой выгоды нет, масло в городе купить дешевле обойдется.

— Хотят жить как господа!

— Вот и пожилы: все профуфукал покойник, и правда остались какие-то голубые бобры.

— Сиротка, — погладила Софья Александровна по головке Курымушку. — Бедная Мария Ивановна, совсем еще молодая женщина.

Пришла мать с платком в руке, в слезах, обнялась со всеми, сказала:

— Теперь всю жизнь работать на банк!

— Эх, Мария Ивановна, мы все на банк работаем.

— Ну, вы — дворяне, вас все-таки опекают.

— Зато вы такая здоровая и сильная.

— Да, это была наша коренная ошибка, не нужно было нам забираться в деревню, все равно земля рано или поздно перейдет мужикам.

— Почему вы так думаете?

— Потому что им волю объявили, а земли не дали. Их много, они одного хотят — земли, и своего добьются: земля непременно перейдет мужикам.

Из всех этих разговоров Курымушка заметил себе много неприятных вещей: какой-то Банк схватил маму и она теперь будет на него работать; еще нехорошее, что он — сирота, что «мы — купцы» и что земля перейдет мужикам. Хороши были только голубые бобры, но и то над этим смеялись.

Бледный господин

Далеко до солнца, но мать всегда до солнца встает и уходит в поля, никогда ее летом поутру не увидит Курымушке. Только за обедом она сидит, загорелая, как бронзовая, и могучая, ест и сама разговаривает со старостой Иваном Михальчем.

- Рыжка — *того*?
- Причинает, Марья Ивановна!
- А Бурышка?
- Не *того*!
- Опять ты за свое: «не того, не того»! Говори языком человеческим, я тебя спрашиваю: Бурышка... того?
- Пошла в передой.
- Вот те раз! Ну как же ты это допустил?
- Да это не я.
- А кто же, не ты?
- Бык ослабел.
- Вот те раз! Ты с ума сошел! «Бык ослабел»! Ты сам ослабел.

И так весь обед точит она Ивана Михалыча. Ничего в этом не понимает Курымушка, и только жалко ему и даже страшно бывает подумать, что старшие от ранней весны и до поздней осени должны работать на Банк.

Кто это Банк и где он? (На небе Господь живет, а Банк — в городе, на синее небо летают птицы, в город ездят на лошадях, и там — Банк.) Все работают с утра до вечера на Банк — Иван Михалыч, мать и особенно мужики.

Только поздней осенью, когда начинает рано темнеть, навещает часто соседка Софья Александровна, ходит по коридору до забитого на зиму зала и обратно в столовую, до самого кресла Курым, откуда он все слушает и обо всем думает. Бывает, приходит из своей школы тетя Дунечка; с ней мать говорит про Софью Александровну, а с той — про Дунечку и о том, как можно освободиться от Банка.

— На ле-галь-ном положении, — говорит Дунечка, — я долго работать не буду, это я временно.

— Да, только бы освободиться от Банка! — постоянно говорит мать.

— Нужно терпеть, — учит Софья Александровна, — наша вся жизнь есть долг и терпение.

Про это вот больше и спорят все: ни мать, ни Дунечка не хотят терпеть, им только бы как-нибудь освободиться от Банка, а Курымушка мало-помалу складывает себе историю про Софью Александровну и про Дунечку.

Было, представляется Курымушке, три жениха у Софьи Александровны, два были хорошие и один Бешеный. Софья Александровна посоветовалась со старцем, ей было велено идти за хороших. Но это Курымушка хорошо понимала, — если велят по-хорошему, то хочется идти по-плохому: Софья Александровна вышла за Бешеного. И началась беда: Бешеный барин раз все стулья поломал, и как ругается! Его слышно здесь на балконе. А еще Бешеный барин — и это хуже всего — был а-те-ист. Что это значит, Курымушка думал-думал и не понял. Раз Софья Александровна убежала из дому сюда и не знала, как быть ей дальше, но вспомнила старца, написала ему. «Сама виновата, — ответил старец, — не нужно было выходить, а если вышла, терпи до конца и спасешься». С этого дня Софья Александровна стала все терпеть и во всем слушаться старца.

Все это шепотком от прислуги, — это все большие тайны, а про хозяйство начинают всегда громко:

— У вас почему стала рожь?

— По восемнадцать копен.

— Хорошо! Вязь большая?

— Не обхватишь снопища.

— Как все у вас ладно выходит!

— Я во всех даже мелочах со старцем советуюсь. А как вы с травой на валах? Бабы ташут у вас?

— Мешками ташут, ничего не поделаешь, за ними ведь не угонишься.

— Я научу вас, как нужно.

— Ну те-с?..

— Я незаметно к бабам подхожу, кустами, и будто их не вижу, а сама покажусь, когда им уж бежать нельзя, тогда они непременно залягут в канаву. Я сяду будто отдохнуть на край канавы, над самыми бабами, и дожидаюсь, пока они встанут; они думают меня перележать, а я думаю их пересидеть, но я непременно их пересажу, зашевелятся и сами отдают мне мешки. Выходит двойное наказание — и время потеряли, и мешки.

«Вот какой хитрый старец, — думает Курымушка, — и почему это мама борется с Банком сама и не хочет слушаться старца?»

Другая история была про Дунечку. Но это еще много чуднее, чем про Софью Александровну. В большом купеческом доме на маминой родине у одного из ее братьев был мальчик по прозвищу Га-ри-баль-ди. Когда он стал довольно большим, то поднял в этом доме восстание, и с ним ушла его сестра Дунечка. Куда они делись, нельзя было узнать; мать говорила: «Все покрыто мраком неизвестности». Мать признавалась, что сама в этом плохо понимает, — почему-то они ненавидят царя, такого хорошего, освободителя крестьян.

— Вы-то как думаете про это, Софья Александровна?

— Я тоже в этом мало понимаю, но думаю — из них могут потом выйти очень хорошие, умные люди; у них это от гордости, хотят все сами. А что сами! Вот я хотела сама выйти замуж, и что вышло! Нужно терпеть! Потом они тоже смиряются и будут умные люди.

— Умные, что и говорить, в нашем роду глупых не было, — он был умница во всем городе и по-ра-жал всех. Дунечка за ним, как за Богом, шла, как вы теперь за старцем идете: бес-по-во-рот-но! Он был в тюрьме, и это у них за святость считается, страдал за народ, как Христос.

— Не говорите так, Мария Ивановна!

— Нет, отчего же, мне кажется, Христос был очень хороший.

— Да разве так можно?

— Господи, я же знала его гимназистом, какой он был хороший, как заступался при малейшей обиде за прислугу, за бедных родственников, за большую собаку, птицу, замерзающую на улице, увидит и приголубит. И Дунечка пошла за ним, они были в Париже, учились, но, должно быть, не-ле-галь-но.

— Не-ле-галь-но, — твердит Курымушка.

— Что ты там шипишь? — спрашивает его мать. — Не уснул еще? Подожди, не спи, скоро ужинать.

И опять Софье Александровне:

— Он остался там, она приехала по его приказу работать на ле-галь-ном положении, пока...

— А потом?

— У них про-грам-ма: жить без царя.

— А потом?

— Я не знаю, но у них потом выходит как-то очень хорошо, я сама не понимаю, как люди вдруг переделаются, если не будет царя. Но она такая милая и такая хорошенькая, хотя и ми-ни-а-тю-р-ная, кулачки свои крошечные подымет: царь такой большой, она такая маленькая, мне это нравится.

— Очень миленькая! А вы бычка своего продали?

— Симментала? Нет еще.

— Вы променяйте мне его на телушку, я давно мечтаю о симментальском бычке.

Курымушка все это слушал и по-своему понимал. И когда Дунечка прочла ему свое любимое стихотворение:

Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный,
Полуиссохший господин, —

Курымушка понял, что *бледный господин* и есть он, тот самый Га-ри-баль-ди, и он Дунечке все равно как старец Софье Александровне; а у мамы только Банк и она сама. Но почему же, бывает, мама иногда так просияет, будто всем солнце взошло, а Софья Александровна и Дунечка так не могут? «Работать на ле-галь-ном положении хуже», — думал Курымушка.

Земля и воля

Задавались вечера, и это называлось «гости», когда и Дунечка была, и Софья Александровна, и еще другие соседи — все больше женщины. Тогда ужин оттягивается надолго и Курымушку развлекают, чтобы не уснул. Кто-то поет ему песенку:

Ах ты, воля, моя воля,
Золотая ты моя.
Воля — сокол поднебесный,
Воля — светлая заря.

Матери песенка эта очень нравится, она говорит:

— Какая все-таки светлая эпоха была. Я венчалась как раз в шестьдесят первом году.

А за дверью громкие вздохи и кашель.

— Кто там?

— Я!

— Гусёк?

— Так точно!

— Тебе что, Гусёк?

— К вашей милости.

— Ну, что?

— Землицы!

— Вот те раз! Ты с ума сошел. Какой тебе землицы?

— Дозвольте крайнюю десятину взять, я отработаю.

— Ты отработаешь? Господь с тобой, знаю я, как ты работаешь: тебе бы только перепелов ловить.

И просветлив потемневшее лицо:

— Нуте-с?

Это значит: «Ну, продолжайте то, хорошее, о чем говорили».

— Тетенька, милая, не говорите этого нашего ужасного купеческого «нуте», ведь это с лошадей взяли, лошадям «ну», людям «нуте». Слышать этого не могу! Да еще словоер.

— Спасибо, Дунечка, правда нехорошо, надо отвыкать. Не буду, не буду.

И, вспомнив опять это светлое время эпохи освобождения крестьян, вся сияя от радости, гостям говорит:

— Нуте-с?

Прежний голос поет:

Не с росой ли ты спустилась,
Не во сне ли вижу я?
Знать, горячая молитва
Долетела до царя.

Дунечке это не нравится, она не любит царя.

— Какое старье ты поешь!

И читает:

Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.

— Какую же правду? — спрашивает Софья Александровна.

— Правду какую? Вот:

В мире есть царь, этот царь беспощаден...

— Ты, Дунечка, — говорит тот голос, певший «волно», — вся на мужиках сосредоточилась, тебе безлошадные, двухлошадные больше значат, чем Пушкин и Лермонтов.

И поет этот голос такую песню, лучше какой Курымушка после уж никогда не слышал:

И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой.

А мужик все вздыхает в передней.

— Ты разве не ушел, Гусёк?

— Никак нет.

— Что тебе от меня надо?

— Землицы.

— «Землицы, землицы!» Затвердил Якова, одного про всякого. Я бы на твоём месте и носа не показала сюда. Ты намедни скородил?

— Скородил.

— Борону ты сломал?

— Я? Лопни мои глаза, провалиться на месте, ежели я.

— Кто же сломал?

— Сама сломалась.

— Сама! Уходи, уходи, нет у меня для тебя земли! Откуда я тебе землю возьму? Не могу же я всех земель наделить.

— Сделайте божескую милость.

— Ухо-ди! Нет у меня земли.

— Какую-нибудь завалющую.

— Господи, закройте ж там дверь, что же это такое, собрались посидеть, и нет ни покою ни отдыха! Такая жажда земли, а мы тогда думали, ка-ак хорошо будет, такая светлая эпоха была!

Только собралась опять с духом и сказала свое «нуте-с» — в передней новый шум, топот, отхаркивание, отсмаркивание; староста Иван Михалыч робко *приоткрыл* дверь.

- Что там?
 - Мужики пришли.
 - Вот те раз! Те?
 - Те самые, намеднишние.
 - Что им надо?
 - Земли просят: запольный клин.
 - Рожна им! Запольный клин хотят *энти* снять.
 - *Энти* посильнее.
 - Ну, скажи им: «У Марьи Ивановны гости, занята».
- И только выбрались те мужики, Иван Михалыч опять

приоткрынул дверь.

- *Энти!* — шепнул.

Мать моргнула.

«*Энти*» — богатые мужики, они, может быть, даже и задаток принесли, их, может быть, надо и водкой угостить. Дверь отворяется настежь, вся столовая наполняется запахом тулупов. Мать делает вид, будто ничего не знает, зачем пришли мужики, и даже старается их припугнуть.

- Что вы пришли?
- К вашей милости.
- Ну что... к милости?
- Пожалейте нас!
- Мне вас нечего жалеть, вы меня пожалейте.

Перечисляет все их преступления за лето.

— Это не мы, — защищаются «энти» мужики, — это те, они разбойники, а мы...

- Те, те! — сердится мать. — А чьих загоняли лошадей?
- Мы прикоротим!
- И в саду копыта видела!
- Это те.
- Ваши копыта!

А задаток уже показывается в руке старшего из «энтих». Поладили скоро. Мать, довольная, направляется к горке, и там, в этой горке, там наверху только для виду стоят красивые вещи, на нижних полочках за дверцами — четверти с водкой, бутылки с наливкой, уксус, пузырьки с лекарствами. Мать переливает, подливает, отцеживает мух, не раз, наверно, попадает в сивуху уксус, и постное масло наверх

кружками всплывает. В дверь, теперь уже настезь раскрытую, Иван Михалыч входит, выходит с большим стаканом, подносит. «Энти» выпивают по очереди, без закуски, руками отирая бороды.

— Все?

— Никишке красное.

Тот всегда пьет вино только легкое, но если бы знал, что пьет! — в стакане та же сивуха, но для цвету из неза-ткнутой бутылки наливки, наполненной мухами так, что уж и не жидко, добавляется еще немного. И это он пьет по фасону своему, как легкое.

— Извините, я сейчас! — повторяет хозяйка гостям.

И последнее — короткий наряд на завтра:

— Хватаю — солому возить, Кузьме — дрова рубить. Позови плотника сбить кормушку, съезди в ночное, не пасут ли на клевере. Слышишь?

— Слушаю.

— Ступай!

Кончено, садится в кресло, тасует карты, хочет раскладывать свой любимый пасьянс: «Николай умирает, Александр рождается», но опять что-то темное мелькнуло в лице, и «свой глаз» тревожно смотрит на дверь.

— Там кто?

— Я!

— Кто ты? Гусёк?

— Так точно!

— Тебе что?

— Землицы!

Пока мать, измучив себя и Гуська, решается сдать ему «заваливший клок» под работу *в кружок*, Курымушка под шумок перебирается на свой диван, по-своему молится, засыпая: «Господи, благодарю Тебя, что не создал меня этим Гуськом».

Гусёк

Много думал об этом Курымушка, почему такие бедные и несчастные мужики бывают в доме, когда приходят за чем-нибудь к матери, и самые веселые люди, самые хорошие —

на полях они — те же самые мужики. «Это не они виноваты, — решил Курымушка, — это наш дом такой: мы купцы».

Было однажды весной у колодезя, Павел с Гуськом воду качали. Курымушка стал Гуську под руку, и тот сказал:

— Посторонись, барин!

— Какой он барин, — сказал Павел, — он купец.

— А что значит купец? — спросил Курымушка.

Павел ответил:

— Индюх!

Было очень обидно.

— Нет, брат, — успокоил Гусёк Курымушку, — ты не горюй — купец нам с тобой самый хороший человек; купец — человек богатый. Что барин! Тому были бы собаки, а купец любит птицу.

— Какую птицу?

— Птицу какую! Пойдем-ка, брат, ко мне в избу, я тебе покажу.

И тащит его за рукав к себе в избу. И что там у него в избе! Тут и петух-дракун, и курица кахетинская, и скворец-говорец, и голуби-космачи, и голуби-воркуны, и куропатка ручная, а перепелов! Всякие есть, но Гусёк подводит к любимому.

— Люб ли тебе?

Перепел серый, с подбитым затылком. Какое-то сходство с Гуськом. У Гуська лицо заросло волосами, у перепела — перышками, нос голый и чуть-чуть крючком, как перепелиный клюв.

— Люб ли тебе?

— Они все одинаковы.

— Во-она! Да ты знаешь ли, братец мой, этого перепела верст за двадцать слышно, а ежели он у попава огорода треснет или у Горелого пня, так ты, братец...

— Что, Гусёк?

— Ножками брыкнешь, вот что, милый! Перепела в поле разные, хорошие — редки и дороги. Вот почему купцы сидят в городах, а чуть прослышат — залетел к нам звонкий, сейчас лошадей запрягать — и в поля. В прежнее время, — рассказывает Гусёк, — купцы к нам в каретах съезжались,

с женами, слушать голосистого. Вот, брат, что значит купец, это — богатый человек. Да поймай я настоящего купеческого перепела, он озолотит меня.

— Озолотит?

— Озолотит! Буду богатый и куплю себе тульский самовар: чай буду пить. Вот что значит купец. Ну, так люб ли тебе мой перепел?

— Серенький...

— Вот то-то и горе, мой милый, что серый: настоящий купеческий — *белый*.

— Белый?

— Как бумага! Не веришь? Покажу. Сам своими глазами видел. Приходи на вечернюю зорю к Горелому пню.

Это недалеко за садом. Вечером Курымушка пробирается к Горелому пню. Понемногу смеркается. Едет мужик в ночное, будто черный парус плывет по зеленому морю. Лягушки-квакушки стихли, зато лягушки-турлушки завели трель на всю ночь. Кукушки охрипли и смолкли. Черный дрозд пропел. А перепела все не кричат.

— Рано?

— погоди, — шепчет Гусёк, — соловьи еще зорю играют, а дай стихнуть...

— Закричит?

— Во-она!

Гусёк шепчет «во-она» совсем на перепелиное, любовное «ма-ва».

Стихают один за другим соловьи: «чмок-чмок», и конец.

И кажется, звенит тугая струна.

— Жук?

— Жук прожундел. К чему-то много жундит жуков, — шепчет Гусёк.

— К чему?

— Да бог его знает к чему. Молчи.

Молчит Курымушка, ни жив ни мертв. Но лягушки-квакушки отчего-то вдруг проснулись, взгомонились и заглушили лягушек-турлушек.

— Ку-а, ку-а! — передразнивает недовольный Гусёк.

Квакушки замолчали. Заголосили девки в деревне.

— Пропадите вы пропадом!

На колокольне сторож ударил, глянула на небе первая звезда.

Пахнуло от озими рожью. Пала роса. Тогда-то наконец по всему росистому полю — от попова огорода и по Горелый пень, будто кто-то невидимый хлопнул длинным-предлинным арапником, — крикнул перепел.

— Голосистый? Белый?

— Купеческий.

И тихо, как полевые звери, крадутся охотники по росистому полю вниз, к оврагу, и на ту сторону, к попову огороду. Старик на колокольне еще звонит, и еще глянула в уголку небес молодая звезда, и еще, и еще.

Голосистый не шутит: бьет — в ушах звенит. Самка молчит. Берет опaska: тюкнет не вовремя. Расстелить бы и оправить поскорее сеть. Слава богу, молчит, чуть копается в своей темной лубяной клетке, обвязанной бабьим платком. Сытая она теперь и довольная: перед ловом Гусёк напоил ее для чистоты голоса теплым молоком.

Зовет голосистый. Она молчит под сетью в пахучей росистой ржи.

Осторожно берет Гусёк свою кожаную тюколку и тюкает.

Когда самка молчит, необходимо подтюкнуть:

«Тюк-тюк!»

И наступает решительный миг, самка взяла:

«Тюк-тюк!»

Если бы можно было теперь съежиться в маленькие комочки, как перепела, и притаиться под глудкой! Если бы уйти по самое горло в землю и покрыться краешком сетки! И загорелось же там, у голосистого белого перепела! Мечется он по полю, выбегает, как мышь, на межу, поднимает головку, смотрит над стеблями. И опять в рожь со всего маху:

«Пить-полоть!»

А она в ответ тихо:

«Тюк-тюк!»

Но ему ли отвечает она? Вот теперь по всему полю кричат перепела.

Она отвечает ему. Конечно ему!

Он егозит на рубеже, поднимается на цыпочки. Нет, не видно. Он мечется и лотошит, перескакивая с глудки на глудку. Пробует взобраться на сухой татарник — колко! На прошлогоднюю полынь — гнется! Хочет крикнуть — голос пропал: вместо прежнего звонкого «пить-полоть» — хриплое и неслышное, страстное — «ма-ва».

«Тюк-тюк!» — отвечает она.

Он хлопает крыльями о сырые темные комки и больше не слышит земли под ногами. Летит. Куда летит? Бог знает. Свет велик!

— Летмя, летмя! — шепчет Гусёк, сгибаясь над сетью в три погибели.

Хочет уменьшиться — и не может. Хочет быть как перепел — тесно.

И вдруг упал возле сетки. Шуркнул в зеленях, шепчет страстно:

«Ма-ва».

«Тюк-тюк!» — отвечает она.

«Иди, иди, любезный перепел», — замирает сердце охотника. Он ходом идет, шевеля верхушками озимых стеблей. Перед самой сетью — плешинка, вымочина, рожь едва-едва прикрывает ее. Он останавливается, боится. Может быть, видит уже, что тут в десятке шагов другой огромный перепел сидит, согнувшись над полем, и отблеск зари зловеще сверкает на его голом перепелином носу.

«Видит или не видит?» — замирает охотничье сердце.

Не видит! Идет напролом. Последнее «ма-ва», последнее «тюк-тюк», и рожь шевелится под сетью возле самой клетки.

Теперь самка высунула свою серую головку из лубяной темницы в окошко, где привязана фарфоровая чашечка для питья, а он — тоже у чашечки. И глядят друг на друга: очи в очи, клюв в клюв. Густые озими пахнут, призывают: «Разбей, голосистый белый перепел, лубяную темницу. Думать тут нечего!»

Где тут думать: он ерепенится, хохлится и бьет грудью и крыльями о сухой лубок.

Час пробил: пора!

Встряхивают сеть. Перепел висит в петле, как раз против стаканчика с водой, где он только что видел склоненную головку. Не упустить бы только теперь. Не ускользнуло бы из рук его тепленькое бьющееся тельце. Голосистый туго завязан в мешочке из-под проса. Полевая песнь его спета. Теперь он будет петь в городе, в железных или рыбных рядах, услаждая купеческое ухо.

Охотники, мокрые от росы, шагают по полю домой, будто водяной со своим маленьким сыном переходит из озера в озеро.

Церковный сторож давно отзвонил. Давно уже небо покрылось звездами. Месяц взошел. И тысячи малых земных звезд засияли на стеблях озими, на сапогах, на чекмене, на бороде Гуська, на завязанном мешке, где в тьме притих голосистый. Все птицы притихли. И лишь лягушки-турлушки ведут свою вечную трель от вечерней зари и до утренней.

И чудится Гуську, будто четверка белых коней мчит из оврага карету в зеленое поле. Едет купец, не глядит, что топчет чужие поля: у него ли не хватит денег! Вот остановился. Гусёк будто открывает дверцу:

— Ваше степенство, извольте слушать: кричит!

Кричит белый перепел. Задумался купец в карете, забыл он счета, кули, мешки, трактиры и мельницы. Разгорелось сердце.

— Поймай, Гусёк, Христа ради!

— Сию минуту, — отвечает Гусёк, — не извольте беспокоиться, самка у меня хорошая, молочком ее тепленьким попоил для голосу, для чистоты. Для вас старался. Вас ждал. Сию минуту.

И будто уходит Гусёк и возвращается с перепелом.

— Ваше степенство, извольте!

— Белый?

— Так точно, ваше степенство, купеческие перепела — белые.

— Что же ты хочешь за белого?

— Сколько пожалуете!

Озолотил купец Гуська. Мчится в своей карете на белых конях, с белым перепелом целиком по полям, по оврагам, по мужицким и поповским огородам.

И чудится Гуську: из своего собственного самовара поит он всю деревню и рассказывает бль о праведном купце и белом перепеле.

Дома, при огне, охотники хотят полюбоваться драгоценной добычей, пересадить из мешка в клетку. Развязывают, вынимают.

— Во-она!

— Что ты, Гусёк? Покажи.

— Серый, — качает головой Гусёк. — Опять мимо капнуло — русака ловили.

Что это! Или вовсе на свете нет белого? Тускло горит копчушка в избе Гуська. Спит петух-дракун, спит соловей-певун, спит скворец-говорец, спит плотный ряд космачей и турманов на шесте. Нет купеческого перепела, нет у Гуська тульского самовара.

— Так и нет их на свете?

— На све-те! Что тебе свет-то клином у нас сошелся?

Перешли на новые места.

— А где новые места?

— Известно, в Сибири.

— И там, верно, есть белые?

— Там перепела все белые.

— И бобры голубые?

— Синенькие, зелененькие. Там всякие есть — по дорожкам бегают. Надо бы и нам подаваться туда.

Тайна сушеной груши

На том месте, где была наша усадьба, теперь новая деревня построилась, и в старом саду — сенокос, но трава на когда-то удобренных клумбах и теперь растет выше, косцы узнают, вспоминают, что тут раньше были цветы. Но это еще что — трава на клумбах! Отцовские маргаритки я захожу в траве и думаю: это непременно отцовские, потому что матери уже было некогда заниматься цветами. Все-та-

ки был у нее хромой садовник Евтюха, лениво подскребал бороздником сорные травы, и розы целыми аллеями долго росли после отца. Только это розы, это вишни и яблони, а людей-то под липами не было, и бегали по дорожкам желторотые галчата и вовсе одичавшие братья Курымушки — гимназисты. Бывало, только слышатся бубенцы и топот, сломя голову несутся ребята из сада на двор смотреть, кто едет, куда. Как за оградой из-за кустов акации покажутся гнутые шеи пристяжных, как одна пристяжная завернет между каменными столбиками, — тут нечего уже дожидаться. Далеко позади себя дети слышат ужасный крик няни:

— *Гости!*

Ласковым, но необыкновенным голосом долго мать зовет детей, думает: «Выйдут и попадутся». Но по одному этому голосу о гостях легко догадаться, если бы и не видели их своими глазами. Залегает Курымушка всегда под Розанку: в этой старой яблоне ствол у корней расщеплен, и, как в окошко, можно смотреть через ствол в аллею на лавочку, где почти всегда гости садятся и разговаривают. Сладкой стрелой вонзается ему в сердце радость при виде подъезжающих гостей, но бежать от них нужно, а то не миновать колотушки от братьев за отдельную радость. По липовой аллее на дорожке, желтой от троичных песков, разгуливают краснозобые снегири, зяблики, и заяц тихо проковыляет, и уж проползет, а ступит нога человека — и все разбегаются и разлетаются. Им тоже, быть может, очень хотелось бы в душе побыть вместе с людьми, но, верно, и у птиц на деревьях, и у козявок в траве есть своя какая-то страшная тайна, и оттого-то все разбегается и разлетается, когда слышатся шаги человека. Так тихо бывает в саду на дорожке, когда все спрячется. Но как ни будь тихо, все кто-то сзади шепчется... Обернулся — и нет никого, только мелькнули в воздухе чьи-то копытца. В страхе бежит от них Курымушка и вдруг остановится на площадке возле дома и рассыпает вокруг себя крестики.

— Что с тобой?

— Ничего, я обедню служу.

Сбылось однажды тайное желание Курымушки, — всех детей гости захватили, и за торжественным столом, накрытым белой скатертью, они сидели, как привязанные за жабры ерши.

Блюдо с грушами, сушенными на солнце, мягкими, сладкими, стояло как раз возле Курымушки, и он изловчился, как будто незаметно для всех, стянул одну — и в карман. Только брат Коля это заметил, шепнул: «Отдай, а то скажу!» Курымушка старшему подчинился, отдал.

— Стяни мне сухарь.

— Вот еще!

— Ну так я покажу сейчас грушу.

И кончик ее показал ему под столом.

«Не покажет, — думает Курымушка, — не осмелится».

А Коля руку из-под стола поднимает все выше и выше.

«И вдруг покажет; нет, не осмелится!»

— Последний раз спрашиваю: стянешь сухарь?

— Не стяну.

— Не стянешь... Ну так вот же тебе!

Кладет руку на стол и медленно открывает.

— Подожди, подожди!

— То-то.

Курымушка изловчился, вытянул и потихоньку под столом передал Коле сухарь. Слава богу, благополучно сошло!

— Ну, отдавай теперь грушу.

— Как бы не так! Стяни мне конфетку.

Пришлось и конфетку стянуть.

И пошло, и пошло с тех пор: под страхом открыть всем тайну сушеной груши Коля распоряжался Курымушкой. Раз даже двугривенный пришлось незаметно вытащить из кошелька матери, и как это страшно было и гадко: мать спала после обеда, на маленьком столике возле кровати лежал большой полуоткрытый серый замшевый кошелек; Курымушка подкрался и, не сводя глаз с лица матери, вытянул двугривенный. А в дверях уже дожидался страшный мучитель. Хорошо еще, отпустил и не велел другого стянуть! С каждым днем нарастала сила тайны сушеной груши, а тут еще скоро подоспела другая беда.

СОДЕРЖАНИЕ

КАЩЕЕВА ЦЕПЬ. <i>Роман</i>	5
МИРСКАЯ ЧАША. <i>19-й год XX века</i>	539
КЛАДОВАЯ СОЛНЦА. <i>Сказка-быль</i>	625

Пришвин М.

П 77 Кладовая солнца : роман, повести / Михаил Пришвин. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 672 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-08591-6

Михаил Михайлович Пришвин (1873—1954) сумел не только обогатить русскую литературу проникновенными описаниями природы, которую любил всем сердцем, и выявить необычайную красоту языка. Философ и поэт, он смог увидеть за обыденным великую тайну целой Вселенной, почувствовать единство всего живого в мире. В основе его произведений лежит глубокая, подлинно христианская идея «согласования творчества человеческого сознания с творчеством бытия».

В настоящем издании собраны знаковые произведения автора: автобиографический роман «Кашеева цепь», в котором писатель через события собственной жизни создает масштабное полотно русского бытия на переломе веков; повесть «Мирская чаша», увидевшая свет только после смерти автора; и знаменитая «Кладовая солнца», которую автор писал «для ребенка, живущего в нас самих от раннего детства и до старости».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН
КЛАДОВАЯ СОЛНЦА

Ответственный редактор Екатерина Дубянская
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Ольги Варламовой
Корректоры Валерий Камендо, Ксения Казак
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 25.07.2018.

Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂. Печать офсетная. Тираж 2000 экз.
Усл. печ. л. 29,61. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.

www.pareto-print.ru



Y-AKB-16599-03-R

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru,

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей

и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

www.azbooka.ru/new_authors/